

Амаяк Тер-Абрамянц

Сладкий яд Венеции

Рассказы и повести



Амаяк Тер-Абрамянц
Сладкий яд Венеции.
Рассказы и повести

«Издательские решения»

Тер-Абрамянц А.

Сладкий яд Венеции. Рассказы и повести / А. Тер-Абрамянц —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-744209-5

Любовь и предательство, жизнь и смерть, и душа у моря страстей и соблазнов
человеческих... Сборник рассказов и повестей. Привет читателю!

ISBN 978-5-44-744209-5

© Тер-Абрамянц А.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Сладкий яд Венеции | 6 |
| Сладкий яд Венеции | 6 |
| Девятый вал | 19 |
| Без женщины | 25 |
| Майя | 28 |
| 1. Утро | 28 |
| 2. Давай поедem на море | 28 |
| 3. Рождество | 29 |
| 4. Лестница | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 31 |

Сладкий яд Венеции
Рассказы и повести
Амаяк Тер-Абрамянц

© Амаяк Тер-Абрамянц, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сладкий яд Венеции

Сладкий яд Венеции

*С ней уходил я в море
С ней покидал я берег,
С нею я был далеко,
С нею забыл я близких...*

А. Блок

1.

Знакомая с детства песня вдруг послышалась откуда-то. Казалось, где-то за стенкой работало радио. Аккуратно высвободив себя из-под руки спящего мужчины, она вскочила с кровати в чем мама родила, подбежала к окну, растворила жалюзи, и на нее пахнуло свежестью утренней Венеции. Майское небо было акварельно голубым с легкой позолотой над черепичными крышами и совершенно чистым, зеркальная вода в канальчике кое-где легко рябилась. Нет, это было не радио: эту песню распевал самый настоящий гондольеро, работая длинным желтым веслом (они с Вадимычем, опытным рыболовом – сибиряком, еще вчера, сидя в гондоле, удивлялись, как это получается – гребет веслом только с одной стороны, а лодка идет прямо!). Ну конечно же, это была «Санта-Лючия»! Та самая «Санта-Лючия», с которой в детстве у нее начинались уроки на пианино, когда ей только-только ставила руку соседка-музыкантша, и над нотным станом рисунок был: гондола, гондольер, луна... Только сейчас было раннее утро, и гондольер не стеснялся кому-нибудь помешать, разбудить (знал ведь, подлец – прекрасное может только понравиться!), пел полным звучным голосом, пел вечернюю песню, видимо в шутку, без которой настоящий итальянец не может прожить и минуты – соломенная шляпа, перехваченная красной ленточкой, смуглая жилистая шея, голубая матроска... пел непонятные слова прекрасного языка, становящиеся в мелодии еще более прекрасными, в которых различалось только одно знакомое – «Санта-а Лючи-ия! Са-анта Лючи-ия!»... Напротив, через канальчик, такие же кажущиеся безлюдными в этот час дома, гостиницы с жалюзи, висящие над водой цветы, балкончики, терраски... многие окна открыты и темнеют полости комнат, скрывающие еще чье-то счастье... Ведь это был город счастливых, алкающих счастья приезжих и путешественников – местные жители давно почти все переселились на материк в Мэстрэ, а все эти дома и дворцы превратились в гостиницы, музеи, магазинчики, ресторанчики... и со всего мира сюда приезжали веселиться, смеяться, любить... Казалось, она никогда за всю жизнь в России не видела столько ни к чему не обязывающих улыбок, часто совершенно ни к кому не обращенных, сколько за один только вчерашний день. Это был город счастья, созданный, приспособленный только для счастливых. Гондольер распрямился, вдруг перестал петь на полупhrase (хочу пою, хочу – не пою!), она увидела его обветренно-смуглое лицо. Широко и белозубо улыбнувшись, он приветливо помахал ей и послал воздушный поцелуй, и она, прикрыв левой рукой соски, помахала ему и тут почувствовала, как большая мягкая рука легла ей на плечо, и даже не обернулась, не шевельнулась, ведь это была *своя* рука.

Вадимыч проснулся сразу как только она встала, и любовался ею, удивляясь. Ну что за чудо, что за попка, прямо-таки итальянская – подумаешь, какие-то там Феллини!... Может, потому что у нее четвертинка еврейской крови? Ведь София Лорен тоже еврейка... И дался же ему на склоне лет такой подарок. И дело тут уж вовсе не в попке, их-то навиделся – всякие там медсестры, лаборантки, ординаторши, аспирантки... Тут было еще что-то совсем другое, необыкновенное, внутреннее... Ведь это был даже не секс в обычном растиражированном

понимании, а нечто ни на что прежде бывшее непохожее. «Когда сливаются дыханья и тела два становятся единым – все это сексом называют любви не знающие...» Кто это сочинил и когда, он не помнил, да это и не имело сейчас никакого значения. Это была совсем не та любовь, чем те, которые ему пришлось пережить за свои почти шестьдесят лет. Он любил эту годящуюся ему в дочери девушку любовью мужчины, любовью отца, смутно предчувствуя в ней свою последнюю лебединую песню, и потому эта любовь была особенно острой. Он стоял, обнимая ее, позади были долгие годы нелегкого труда, строительства семьи и воспитания дочери, годы научной работы, создания кардиоцентра, защиты докторской... Да, нелегко ему, выходцу из Сибири, было пробивать себе дорогу без высоких покровителей в Москве, а теперь у него признание не только в России, но и за рубежом!... И вот она, награда за все, возможность стоять рядом с этой женщиной и обнимать, как свою, и смотреть вместе на Венецию, все прежнее, как ему сейчас показалось, существовало именно ради этого мига, когда он стоит, обнимая ее, открыв утреннему итальянскому ветерку свою широкую, с седыми вьющимися волосками грудь, положив ей руку на плечо, и они смотрят (мог ли он вообразить себе нечто подобное лет пятнадцать-двадцать назад!?) на настоящую утреннюю Венецию! И гондольер, увидев его, приветливо помахал теперь им обоим: «Бон джорно!» – весело выкрикнул он, вновь обратясь к своему веслу, а он отсалютовал в ответ подобно римским легионерам свободной рукой, не отрывая другую от талии любимой женщины.

– Вот ради этого мига стоило жить! – выдохнул он.

– Да, – сказала она, – ради этого стоит жить.

Но каждый вложил в это восклицание что-то свое.

Как странно, будто легкая тучка прошла, но она даже не успела (или не захотела) взглянуть: они стояли на берегу Балтики, той части, которую моряки называли Маркизовой Лужей, там, где кончался (или начинался) Петербург-Ленинград-Петербург, на горизонте хмурых вод угадывались зубрины башен Кронштадских бастионов, а берег был какой-то сюрреалистический: куча автомобильного мусора из покрышек и старых аккумуляторов поодаль, высотные дома со странными темными арками... позади была впервые проведенная вместе счастливая ночь, и день был продолжением этого счастья, после безумного смешивания плоти оно было теперь насыщенным светлым и спокойным. Они стояли на свежесляпанной (судя по кое-где неубраным строительным доскам) бетонной набережной, в одной руке он держал бутылку пива, из которой с торжествующим видом постоянно отхлебывал, другой обнимал ее за талию, моросил дождик, но такой слабый, мелкий, что она даже не захотела раскрыть голубой зонтик и, несмотря на ветер, дождь и холодное пиво, обоим казалось тепло от открывшейся, как чудо, не испытанной никем из них ранее взаимной любви. «Вот ради этого стоит жить!» – сказал он, и она рассмеялась, и странно, что та полнота счастья, испытанная в том убогом месте, была, уж во всяком случае, ничуть не меньше теперешней

Но тучка мелькнула и ушла, не оформившись в воспоминание (она не хотела ничего вспоминать и объяснять), оставив лишь пустую точку легкой необъяснимой тревоги. Ей вдруг показалось, что в этот миг что-то остановилось и он будто странно застыл, а она не хотела никакой остановки, – только движения и движения вперед и вперед! В каждой остановке ей чудилась возможность возврата, скатывания в прошлое, в ту бесполезную, навсегда жестко отрубленную боль, от которой она бежала и за которой ничего, кроме смерти. Она испугалась этого мелькнувшего крохотного чувства (может это равнодушие или нездоровье?), приложила руку к его сердцу (перед отлетом в Шереметьево в очереди на таможню она заметила, как он украдкой глотал нитроглицерин).

– У тебя все в порядке?

– Конечно, конечно, малыш... – он заметил в ее темных глазах тревогу и недоверие.

Они относились друг к другу с той сумасшедшей чуткостью, которую испытывают нечасто встречающиеся влюбленные, и за несколько дней непрерывного общения он уже несколько

устал держать эту повышенную ноту отношений, однако малейшая вибрация, следствие обычной усталости, могла быть ложно истолкована как равнодушие, утаивание чего-то важного, и он всегда бодрился, улыбался, преодолевая порой накатывающее естественное утомление – лишь бы зря не беспокоить ее – и с удивлением ловил себя, что обычно искренний и прямой, начинает иногда играть и походить на киноартиста мыльного телесериала. Но далеко не всегда удавалось сыграть удачно и убедительно, она чувствовала малейшую фальшь в первоначально заданной высокой ноте, в малейшем сбое ритма ей чудилось какое-то предательство, пугающее охлаждение, – тут она сразу суровела и устраивала форменный допрос, а он не мог признаться, что просто устал (это было равносильно признанию, что слишком стар для нее – как-никак разница в 20 лет), и приходилось по ходу пьесы после безуспешных попыток отнекивания и убеждения, мол «все в порядке», срочно придумывать что-то, например, будто вспомнились какие-то неприятности с кем-то из сотрудников или возникшие проблемы со здоровьем зятя. Но сейчас он и в самом деле чувствовал себя прекрасно.

Она прижала руку к его груди сильнее, преодолев сопротивление коротких пружинистых волосков, почувствовала наконец дальние и равномерные удары и успокоилась.

– А ты что вдруг... – заботливо спросил он в свою очередь, уловив неожиданную мгновенную грусть в ее темных библейски глубоких глазах, в которых ему порой виделись египетские пирамиды, верблюды и шагающий по пустыне к свободе Моисей (его часто удивляло, что она вдруг грустнела в, казалось бы, самые счастливые мгновения).

– Нет, все хорошо, – тряхнула она головой, будто от чего-то освобождаясь, и обняла его, откинув лицо, закрыв глаза и вздохнув глубоко и спокойно.

И, одеваясь, пока она плескалась в душе, представляя как стекают струи по ее телу, он думал о том, что она ведь тоже заслужила это сегодняшнее счастье. При ее внешности сто раз могла бы продаться наплодившимся новым русским со щеками, торчащими из-за затылка (не раз видел, как подкатывали к концу рабочего дня на иномарках к ней гости в диагностическое отделение «поблагодарить» за своих детей, родственников, друзей), могла бы стать женой денежного туза или, по крайней мере, обеспеченной любовницей. Так ведь нет, почему-то давала им всем ласковый отворот-поворот (что-то в них ее существенно не устраивало). И пахала, пахала за десятерых мужиков в полутемном эхокардиографическом кабинете, чтобы хоть что-то заработать, не успевая заботиться о своей научной карьере, одна растила сына... Поразительно, сколько сил и энергии было в этой невысокой, хрупкой, подтянутой, как струнка, женщине в белом халатике! Вставала раньше шести утра, везла с окраины Москвы, из Чертаново, сына в элитную гимназию в центре, а закончив работу снова мчалась в гимназию и везла его в музыкальную школу (он делал успехи в классе скрипки), ждала, пока занятия закончатся, а потом – домой, где родители пенсионеры – им тоже надо помочь, купить продукты по дороге, зайти в аптеку, приготовить пищу, сделать уроки с ребенком, принять кучу телефонных звонков (кто-то из друзей или пациентов заболел, кому-то просто плохо и требовалась моральная поддержка) ... И так почти каждый день!

Одевалась просто, можно сказать, бедно (из украшений лишь серебряный перстенок со змейкой), но при этом умудряясь не только сохранить, но и подчеркнуть какую-то особую элегантность, легкость стиля, так что старая вещь выглядела на ней будто новая. Но было страшно смотреть, как она в самые лютые холода бегаёт в осеннем десятилетней давности пальтишке. Увешанные золотом замужние дамы кардиоцентра ее не любили, считали странненькой и, говоря о ней, часто с недобрим женским смешком крутили у виска пальцем: «А наша-то Одинцова...!». Рассказывали, что она могла поздороваться с тараканчиком, невесть откуда вылезшим на стену над аппаратом после санобработки в соседних помещениях, кто-то слышал, будто она беседовала с фиалками, высаженными ею в горшочках на подоконнике...

Был у нее довольно долго какой-то журналист, но у них не сложилось, кажется, из-за того, что у журналиста была семья... Она Вадимычу о нем рассказала после первой же бли-

зости и сразу же того неудачливого писателя отставила. Журналист еще некоторое время дергался, чего-то добивался, звонил по ночам, то матерясь, то рыдая, как водится, запил... но она не из тех, кто получает удовольствие от двойной игры, нет – и никаких гвоздей! (Гораздо больше удовольствия и необычности она находила в достижении искренности – искренность ее возбуждала сильнее всего и в сексе). Раз журналист даже повеситься пытался: повязал веревку за абажурный крюк, да не учел, что крюк-то старый, ржавый, некачественный, как почти все сляпанное при социализме, крюк сломался, журналист упал и абажур ему на голову, – об этом он ей сам со смехом поведал, позвонив на следующее утро. Но все это было в прошлом, в котором профессор Владимир Вадимович Запрягаев, человек трезвый, практический, не любил копаться, тем более, когда настоящее вполне благополучно: «Было – и ладушки с приветом!»...

И все-таки как удачно у них все получилось! Он устроил ей поездку на научную конференцию в Рим, как содокладчика, секретаря. Посмотрели и Форум, и Колизей, и Собор Святого Петра, бросили по монетке через левое плечо, встав спиной к фонтану Треви... Но все же Рим показался серым и тяжеловатым, как любой большой столичный город, а оставалось еще целых два свободных дня, и они решили рвануть в Венецию (благо, валюты он припас на случай заранее). Итальянские коллеги, и в частности профессор Джакомо Ломбарди, несмотря на ломаный английский Вадимыча, его прекрасно поняли и объяснили, как добраться, где остановиться, чтобы и хорошо, и не слишком дорого.

Они выехали из Рима на взятом напрокат серебристом фиате ранним утром. Мимо проплывали невысокие круглые горы, покрытые зелеными кудрявыми лесами с серо-серебристыми пятнами оливковых рощ. И она всякий раз восторгалась, когда вдруг на вершине какой-нибудь из гор возникал, как по волшебству, то монастырь, то замок с зубчатыми стенами, то старинный средневековый городок с длинной свечой колокольни посреди. Италия – ее виллы, горы, поля – пролетала мимо них, как песня, всегда новая, улыбающаяся и прекрасная... И каждый ее новый восторг наполнял его гордостью за себя, за то, что *он смог* дать ей это. Надо сказать, однако, что с утра он чувствовал неважно из-за обильного фуршета накануне, перешедшего в обильный ужин с кьянти и граппой, плохого сна, гонка по незнакомым дорогам, как бы великолепны и удобны они ни были, тоже съела много сил и, проезжая мимо Больньи, пришлось даже воспользоваться нитроглицерином. После Болоньи пошла плоская, как украинская степь, равнина с полями и поселками вдоль шоссе (неизменно со свечой колокольни). Час тянулся за часом, и Вадимыч поймал себя на том, что его что-то тревожит и, наконец, понял: ни единой кучи мусора вдоль дороги, ни единой бесхозной доски они не увидели за весь путь! и это казалось настолько противоестественным, что Вадимычу по этому поводу даже взгрустнулось. В Венецию они прибыли еще засветло и успели погулять по площади Святого Марка и даже прокатиться на гондоле. Ее, правда, поразила страшная дороговизна: двадцать долларов за какие-то двадцать минут, и она поначалу даже стала резко отказываться, но он настоял.

Оказывается, в отеле были и другие россияне. Ее не слишком обрадовало присутствие соотечественников даже в таком довольно дорогом отеле (как впрочем, видимо, и их), но общительный Вадимыч за ужином сразу познакомился: парочка совсем юных молодоженов из Саратова (очевидно детишки новых русских).

Они сидели за столиком с видом на большой на Большой Канал – Гранд Канале, по зеленой ряби которого с лебединой грацией скользили черные гондолы и деловито жужжали белые катера. Она зорко, еще с Рима, следила, чтобы он не ел ничего мясного: «Мясо – это смерть! Ну, ты же ученый, как ты не поймешь! Ты вспомни те самые холестеринные бляшки, которые ты собственными руками выковыриваешь на операциях из коронарных сосудов!»... И когда он попытался было сегодня взять бутерброд с ветчиной, она резко воспрепятствовала его намерению, и Вадимычу пришлось со вздохом удовольствоваться сырной булочкой. Отнюдь не желая

себе смерти, Вадимыч знал и другую сторону вопроса из опыта: для будущей успешной ночи мясо необходимо. Черт с ним с сердцем, со всякими бляшками, ими займемся в Москве – когда рядом молодая красивая женщина, ты не должен разочаровать ее, да еще здесь, в Италии! И он украдкой урывал, уплетал то гамбургер, то какие-то невесть откуда взявшиеся хот-доги, то немецкую копченую колбасу, которую прятал на дне чемодана – ночью, когда она засыпала, резал колбасу в темноте на крупные куски охотничьим ножом. И здешняя граппа, надо сказать, помогала! Драгоценную виагру он в Москве так и не успел купить, а в итальянских аптеках при ней стеснялся спрашивать. У нее были свои способы восстановления его здоровья: вечерами она делала ему массаж, вкладывая в него, кажется, все годами нерастраченное скопившееся желание – слишком сильно, иногда до боли, но он стеснялся об этом сказать и терпел, хотя предпочел бы просто вздремнуть.

– Тебя что-то беспокоит? – вдруг спросила она его. – Ты побледнел... – Он и в самом деле почувствовал легкое сжатие в левой половине груди.

– Ничего... кроме возраста... – криво усмехнулся Вадимыч.

Она неожиданно рванулась вперед и прижала свои пальцы к его губам.

– Никогда! Никогда не говори о своем возрасте, дай слово! Ты моложе всех тех молодых, которых я видела!

Что его подкупало в ней больше всего? Конечно, внешность, какой-то естественный открытый оптимизм. Но далеко не только это... После первой же близости она заявила, что это для нее достаточно серьезно. Он откровенно рассказал о своем предыдущем недавно законченном альянсе, а она о своей давно тянувшейся и близившейся к завершению, как она выразилась, «теме» с журналистом, окончательную точку в которой знаменовало то, что они сделали. «Понимаешь, – она тогда впервые перешла на „ты“, – я никогда не вру. Это мой принцип, я знаю, что не должна врать ни при каких обстоятельствах, меня за это Бог накажет. Я знаю точно, – я это поняла давно. И даже если у меня кто-нибудь будет, я первая тебе об этом сообщу... Да я так и делала!...» Наверное, это и было тем зерном доверия, из которого произрастает настоящая большая любовь?... Со своей «законной» Ниной Игоревной он не жил как с женой уже лет пятнадцать и поэтому не видел для себя никакой измены.

Но до чего же нежным и хрупким ему казалось временами это чудесное растение – доверие, – его надо было постоянно поливать, взрыхлять вокруг почву, создавать особую атмосферу... А иногда вдруг заползал червячок непрошеного сомнения и больно покусывал нежный зеленый лист. «Я никогда не вру!»... А как тогда понять, если за все время их отношений она еще ни разу не сказала слова «люблю»? Интересно, а тому, кто был до него, она это говорила?... – думал Запрягаев, чувствуя, будто на сердце капнуло металлом. Он пытался гнать сомнения. Но неумолимая логика достраивала звено за звеном, приближая к тому, во что никак не хотелось верить, и свежая зеленая листва столь дорогого растения темнела, будто к осени.

Нет, конечно, она не из тех, кто продается, хотя его однажды и насторожило цинизмом как-то брошенное ею мимоходом в компании: «Ну, должно же быть хоть что-нибудь в мужчине, с которым ложишься в постель!». А что, если не только бравада? А что, если все это с ее стороны лишь обыкновенный искусственный расчет, *охота на крупного зверя*, и она вовсе не собирается вечно мириться с ролью любовницы? – Бабе тридцать шесть, последний звонок, как говорится, последняя возможность, наконец, устроить судьбу... (хотя выглядит необыкновенно свежо и молодо – свойство истеричек! – лет на двадцать пять, самое большое). В этом тоже ничего необычного: устала бороться впустую, устала ждать от жизни чуда, вот и решила пуститься во все тяжкие?... А поди плохо стать в одночасье профессоршей и обеспечить благодаря его положению и связям жизнь родителей и поступление сына в институт?... Да он и сам бы не против такого поворота, но куда деть тогда Нину Игоревну?...

Да нет же, он ей нравится гораздо более, иначе разве могла бы она однажды после близости сказать, задумчиво глядя на его руки: «У тебя умные руки!»... Ей нравилось, как много и ловко он умеет делать этими руками: и строить дом, и водить машину, и вязать лесу на рыбалке, и производить сложнейшие операции на сердце.

Но все сомнения и смутные тревоги на дне души могло окончательно рассеять единственное золотое слово «люблю!», но она никогда не произносила его, отделяваясь комплиментами вроде умных рук.

Молодая парочка из Саратова с аппетитом уплетала сэндвичи с ветчиной, не думая об атеросклерозе. Надо же! теперь запросто можно приехать в Венецию из Саратова в свадебное путешествие! Разве можно было представить себе нечто подобное тридцать пять лет назад? Тогда они с Ниной Игоревной, вот такие же молодые, проводили свой медовый месяц в Сочи, в санатории металлургов. И, любуясь закатом на набережной, не раз вздыхали, пытаясь представить себе за линией горизонта недостижимые, запретные и оттого кажущиеся еще более заманчивыми дальние страны и города – Лондон, Париж, Венецию...

Наверное, эти молодые испытывают сейчас друг к другу нечто подобное, что тридцать пять лет назад испытывали они с Ниной Игоревной, называя это любовью – всего лишь избыток гормонов и опьянение от раскрывшегося ранее запретного. Он ясно помнил, с каким ужасом почувствовал в себе охлаждение к Ниночке после нескольких проведенных вместе ночей, когда биологическое стихийное начало было удовлетворено, и как ему было жаль и ее, и себя, и как он необъяснимо чувствовал себя самым несчастным в мире. Но это прошло, прошло и многое другое, они вырастили дочь, дали ей хорошее образование и то, что раньше казалось любовью или охлаждением, перешло в глубокую почти биологическую привычку, ряд условных рефлексов, привычку к комфорту, который она умела создать. Он защитил кандидатскую, потом докторскую, стал профессором, и его душевный покой до сих пор оставался ненарушенным. А Нина Игоревна состарилась и очень переживала уход из семьи дочери к зятю, отношения с которым не сложились. Она как-то сразу оказалась никому не нужной, одинокой, со своим диабетом, потускневшими глазами, в которых читалась почти животная грусть.

– Ну так что, вперед, на пьядетту Святого Марка!?! – весело воскликнул он, решительно отбрасывая грустные мысли.

– Вперед, на пьядетту! – весело откликнулась она.

2

В глубине стеклодувной мастерской пылала красным глазом небольшая кирпичная печь, а на конце длинной металлической трубки в руках стеклодува искрился оранжевый вязкий прозрачный конгломерат. Резкий короткий шипящий выдох сквозь сжатые губы (чтобы в легкие не попал обжигающий воздух), и на конце трубки вздувается оранжевый, как предзакатное солнце, шар, на глазах меркнущий, переливающийся цветами радуги, а стеклодув, не теряя времени, крутит и вытягивает стеклянный пузырь, придавая ему форму приталенной вазы, ловко обкусывая вязкое стекло черными железными ножницами. Шар уже почти остыл, приобретая хрустальную ясность и прозрачность. А мастер прикладывает обкусанные, казалось, лишние кусочки стекла, еще тлеющие желто-коричневым жаром к бокам вазы, вытягивает их, образуя ручки, и вот, именно в тот момент, когда в стекле гаснет последний отблеск и оно все становится холодно льдистым, ваза готова!

Всем желающим предлагалось надуть пузырь, и она сразу захотела («Только осторожно, не глотни воздух!» – предупредил он). Пузырь у нее получился, как у прочих, какой-то перекошенный, треснул и под ее смех был отправлен в мусор, раздробившись на осколки.

А стеклодув взял щипцами из печи новый вязкий светящийся красным кусок. Ловко вытягивает из конгломерата (Ноги?... Голову? – Собака?...), обкусил, наложил волнистую сосульку (Грива!) ... И стекло так же фантастически меняло свой цвет от оранжево-искристого

к тлеющему коричнево-желтому и вот, когда работа закончена, кусок стал прозрачным блестящим коньком.

Потом они бродили, как по выставке, по большому магазину изделий стекла, расположенному в смежном с мастерской помещении. Чего здесь только не было: посуда, стеклянные цветы, художественные поделки, часто непонятные, причудливые, но загадочно прекрасные, кораблики в бутылках... Особенно их поразил большой стеклянный куст с ажурной листвой и синими стеклянными соловьями на нем.

– А знаешь, здесь, пожалуй, поверишь, что нет ничего прекраснее обычного стекла и не такие уж дураки индейцы, когда обменивали у испанцев золото на стекло! – покачал он головой.

На набережной Скъявони было жарко и ярко светило солнце, зеленые волны набегали на белые ноздреватые ступени, и в такт им, туда и сюда, раскачивались в мутно-белой воде у кромки цветные кустики красно-буро-синих водорослей. Здесь было много всяких сувенирных и галантерейных лавочек, и он попытался ей что-нибудь купить, карнавальную маску, к примеру, или шелковый платок, но она резко воспротивилась: все было страшно дорого. В отличие от предыдущих пассий она вообще не принимала у него дорогих подарков (если исключить сегодняшнюю оплату в гостинице): так, какие-нибудь пустяки на память. И цветы даже не брала... но этому воистину необыкновенному феномену было свое вполне приемлемое объяснение: «Они же уже мертвые! А я люблю живые, когда в горшочках.»

Однако, когда они увидели макет гондолы с гондольером, фонариками и окошечками каюты, зажигающимися изнутри лампочками, она не выдержала, представив себе восторг сына, и позволила ему купить. И хрупкая покупка, помещенная в коробку, надежно проложенная поролоном, перекочевала в большой полиэтиленовый пакет.

Ему нравился ее сын, симпатичный парень с темными умными глазами, когда-то он мечтал о сыне. Иногда думал, а не начать ли еще одну жизнь, в которой станет ему отцом? Тем более – своего ребенка уже вырастил – дочери уже, слава Богу, тридцать, адвокат... Но куда деть Нину Игоревну, с которой они прошли всю жизнь, с ее диабетом, уколами инсулина?... Какой это будет для нее смертельный удар! Да и дочь вряд ли с восторгом отнесется к его затее, у нее свои виды на наследство: большую дачу с огромным пойменным лугом в излучине Оки, гараж, машину, пятикомнатную квартиру... Одним словом, если уходить, то начинать с нуля (пожалуй, лишь машину не отдаст). Но сможет ли он, потянет ли в свои пятьдесят шесть, ведь не зря и его звоночек позванивает: жмет все чаще в левой половине груди и под левой лопаткой, а заниматься собственным здоровьем просто некогда!... Да и на сколько еще лет его хватит как мужчину?... и он всячески отодвигал серьезное рассмотрение вопроса, предчувствуя, через какую боль и грязь придется пройти, решишь на такое, тем более что существующее положение его лично вполне устраивало; покуда она и так привязана к нему достаточно крепко: в конце концов, никто иной как только он и сможет помочь сыну при поступлении в институт...

– Знаешь, я только здесь почувствовала, что рядом нет Нины Игоревны! – вдруг сказала она.

– Почему? – удивился он, – Ты же знаешь наши взаимоотношения...

– Не знаю, не знаю, в Москве я все время чувствовала, что она будто рядом с тобой. Даже в Риме! А здесь только ты да я – все с нуля, все сначала...

И он поразился, что, в сущности, они думали в этот момент об одном и том же и даже теми же словами.

Легкие гондолы, привязанные к сваям, нетерпеливо приплясывали на мелких зеленых волнах. Вся набережная была заполнена праздной толпой. У края ее сидел в кресле-каталке инвалид в клетчатом пиджаке с пледом на коленях, немолодой черноглазый небритый человек, и грустно смотрел вдаль на остров Сан Джорджо Маджоре со свечой колокольни среди морских

просторов. Он да его скучающий молодой спутник, стоящий позади каталки, исполняющий обязанности рикши, пожалуй, были здесь единственными людьми, которые не улыбались.

– Смотри-ка, – здесь даже инвалиды путешествуют запросто! – воскрился Запрягаев.

Они прошли через мостик над боковым каналчиком, в перспективе которого виднелась слегка покосившаяся колоколенка, и оказались у памятника Казанове.

Вадимыч не привык к авангарду, к необычным средствам выражения в искусстве, всегда предпочитая сугубый реализм (лучший писатель – Лев Толстой, лучший художник – Шишкин), но в этом выполненном из черного мрамора памятнике, безусловно, что-то завораживало, беспокоило. Два мощных львиных тулова с головами прекрасных дев на длинных шеях, по шесть прекрасных грудей на каждом торсе, выставленные как пушечные батареи, с человеческими черепами меж передних лап – стражи порока, изысканного разврата и сокрушающей человека страсти... А между ними сам король порока, перед которым не устояла ни одна самая добропорядочная женщина – Казанова! С желчной улыбкой, в парике и камзоле по моде 18 века, он галантно склонился, протягивая руку крохотной даме-куколке, будто в приглашении на танец.

Бравый чистенький итальянский бамбино бесстрашно вскарабкался на львиную спину, деловито охватив верхние сосцы порока, чтобы не свалиться, вызвав смех у стоящих внизу итальянцев – взрослые защелкали фотоаппаратами.

Она тоже захотела сняться, избежала по ступенькам к Казанове, закрыв собой куколку и, смеясь, вложила в его руку свою. И хотя это было совершенным безумием – ревновать к мраморной статуе, он почувствовал, делая снимок, что ее легкий смех ему сейчас отчего-то не так приятен, как обычно, даже страшноват, будто проступил прообраз неизбежной, predeterminedенной всякой красивой, пусть и самой добродетельной женщине, измены, мысль о которой он всякий раз от себя гнал.

Сегодня они решили взять катер: на гондоле слишком дорого и слишком короткие маршруты, а тут за меньшую цену и всю Венецию увидишь! – Экскурсия на два часа вдоль всего Большого Канала, главного проспекта Венеции, и возвращение по малым.

Они устроились на корме белого открытого катера, которым управлял светлоглазый коричневый итальянец с крошечной серьгой в ухе, и он, вытащив видеокамеру, принялся ее снимать, пока она поправляла сбившиеся от бойкого ветерка волосы.

Отчалила набережная, осталась позади Площадь Святого Марка с Дворцом Дожей и, когда слева появились голубые фигуры, поддерживающие золотой шар, и купол Санта Мариа де ла Салюте, они вошли в Гранд Канал.

Был ли это сон, или вся жизнь до того, как они попали в Венецию, была сном, а сейчас они, наконец, проснулись?... Казалось, они попали на иную планету, где живут только по законам красоты. Мимо проплывали колонны, купола, кружево окон, цветы над молочно-зелеными плещущимися водами... Она то снимала фотоаппаратом, то смотрела удивленно и растерянно, он крутил головой до хруста в позвонках, хватался то и дело за видеокамеру и всякий раз жалел, снимая, что в этот момент пропускает другие планы, не успевая охватить объективом весь оком. Потом оставил видеокамеру, чтобы не израсходовать всю батарейку, – здесь можно было снимать все подряд и непрерывно – не ошибешься, – и стал просто смотреть.

Боже мой, какой дурацкой и дикой показалась предыдущая жизнь его страны, вернее, та ее политическая часть, которая считалась главной, сколько времени и сил отнимала она у единственно истинного – науки: все эти партсобрания, парткомы, политинформации, на которых полуграмотный косноязычный отставной генерал учил маститых ученых института «правильному» взгляду на международную обстановку. Зачем мы хотели переделать мир по своему образу и подобию, исковеркать других так же, как и себя? И кому теперь нужна наша несчастная история, думал Вадимыч? Кому нужен наш зловещий «урок», этим веселым итальянцам, кормящим голубей попкорном на площади Святого Марка? Чему полезному она их может

научить? – Чужое все это для них, лишнее... Нет, наша несчастная история нужна только нам самим, но именно мы и не собираемся ничему у нее учиться!...

3.

После обеда, погрузившись в уютный диван холла отеля, он приятно расслабился, а она прошла дальше к выходу, где находились телефон-автоматы: она частенько звонила из Италии сыну и родителям и, кстати, слышимость была отличная, лучше чем когда звонишь из Москвы в Подмоскowie, будто человек в соседней комнате находится. Дальняя музыка духового оркестра, итальянская и английская речь группы туристов у стойки портье плавно отступили куда-то, и Вадимыч оказался в странном городе. Это была Венеция, но какая-то серая, безликая и совершенно безлюдная, запутанный лабиринт улочек, переходов, мостиков и улиц. Вадимыч одновременно видел город сверху и находился в одном из коленец лабиринта. Странное, тревожное ощущение вдруг охватило его, и в следующий миг он понял причину – ее не было рядом!... Она была совсем недалеко, очевидно, они как-то разминулись в этом хитросплетении, сверху он четко видел сияющую точку – ее местонахождение, куда и пытался добраться, но лабиринт всякий раз уводил в сторону. Страх за нее вдруг сдавил горло, когда он увидел, что в городе они не одни: кто-то, сидящий на каталке, серый, костлявый, с неразличимым лицом, бойко перебирая руками колеса, мчался по лабиринтам к ней, неуклонно приближаясь к светящейся точке, и по ее спокойному свечению он чувствовал, что она ничего не подзревает. Вглядевшись, он увидел его тайное лицо, оно усмехалось, и эту усмешку он узнал сразу – Казанова! Горечь, ненависть и ревность прожгли насквозь, кулаки сжались. Во что бы то ни стало надо было опередить, убить негодяя, задушить, спасти ее, но проклятый лабиринт приближал и снова уводил от заветной цели. Вся Венеция вдруг представилась ему гигантской мышеловкой, ловушкой, в которую они попали, а тот старый самоуверенный распутник спешил, и слышалось его хриплое, жадное дыханье, спешил и Вадимыч, в отчаянном усилии он весь напрягся, крупно вздрогнул и проснулся...

Группа туристов исчезла, и портье беседовал с каким-то не то англичанином, не то американцем, поблескивали люстры, отражая дневной спокойный свет. Четкая реальность быстро выветривала фантазмагорию кошмара, и он подумал, что и вправду, пожалуй, мясо есть вредно. Однако ему вдруг нестерпимо захотелось увидеть ее сейчас, и, встав с дивана, он зашагал к телефонам.

Вадимыч подходил к ней сзади, собираясь положить ей неожиданно и ласково руку на плечо – и все остатки послеобеденной дури, навеянные, очевидно, какими-то смутными и несправедливыми подозрениями, развеются, но то, что услышал, заставило его мгновенно окоченеть, застыть как соляной библейский столб. Она не говорила, она кричала в телефонную трубку так, что не услышать было невозможно: «Да-да-да, сколько мне тебе повторять, я любила тебя, люблю и буду любить!»... потом говорила еще что-то, горячо, неистово... но он уже не слышал что, да это уже и не имело никакого значения.

Он почувствовал, как во рту стало сухо, отдернул протянутую было к ней руку, развернулся и медленно, очень медленно, опустив плечи и постарев лет на десять, прошел в холл, ощущая, что ноги вдруг стали ватными, а в левой половине груди знакомо и нехорошо жало.

Он вновь сел на оставленный было диван и, положив под язык таблетку нитроглицерина, закрыл глаза и горько подумал: вот сейчас она вернется с таким видом, будто ничего и не случилось, будет так же улыбаться, что-то говорить... А он-то, старый дурак, поверил, понадеялся – врушка, как и все! Хотя, с другой стороны, ведь и ни разу не говорила, что любит. Значит, формально честная... а по сути вранье высшего пилотажа! Выходит, просто расчет, стать профессорской любовницей или женой даже, использовать его лишь как средство. И в этом нежелании получать подарки лишь нежелание размениваться по пустякам, ей нужен был он весь сразу, с потрохами! Конечно, мысля трезво, он должен был себе сказать, не будь у него

того положения и возможностей, которое дает это положение, эта красивая капризная женщина и не взглянула бы в его сторону: в ее глазах, при всех его способностях, он остался бы просто пожилым полубольным человеком.

Он сидел так довольно долго, не желая открывать глаз, как услышал, что она окликает его по имени.

Открыв глаза, поразился: она стояла перед ним, и по ее лицу текли слезы.

– Что случилось?!

– Он умирает, а все потому, что нет денег на плазму!... – она разрыдалась, и он, невольно встав, привлек ее к себе, обнял, ощутив подбородком мягкость ее темных пьянящих волос.

– Что случилось? Успокойся, доча, – гладил он ее, – расскажи, в чем дело, я все пойму...

– Ему форец надо делать, а для этого плазма нужна! Чтобы еще год прожить! – всхлипывала она.

Конечно, это тот, который был... Она как-то вскользь говорила, что они иногда переживают, и у него редкая неизлечимая болезнь почек, что-то аутоиммунное – модный в современной медицине диагноз. А как-то даже упомянула, что наконец достала ему какое-то очень редкое иностранное лекарство. Но он не слишком обратил на это внимание, посчитав это какими-то остатками, следами... В душе шевельнулось темное подозрение, но ее слезы одолели, растворили его без остатка, оставив единственное желание – чего бы это ни стоило – помочь!

– Послушай! – вдруг пронзила мысль, – да у нас же в институте этой плазмы – залейся! Я сейчас позвоню и все устрою... прямо сейчас!

– Ты!?... – она подняла к нему темные блестящие от слез благодарные глаза (Ну ни дать ни взять – Мадонна!)

– Сейчас... вот, – он нащупал во внутреннем кармане пиджака записную книжку, – телефоны-то все со мною, я Петровичу, завлабу, звякну, ему как себе доверяю, только б на месте был...

Потом они стояли у телефона, и он кричал в трубку, не глядя на табло, стремительно отсчитывающее лиры. Он искал по разным телефонам Петровича, а его не было: в лаборатории просили позвонить в операционную, в операционной сказали, что он в ординаторской, в ординаторской сообщили, что он уже ушел в лабораторию... Наконец, Петрович нашелся.

– Петрович?... Запрягаев говорит... Где тебя носит... обедал?... Кишку зарядил?... Ну да, из Венеции... Ничего погодка, а теперь слушай сюда...

Потом звонила она и говорила, глядя на него:

– Вот, послушай, тебе Вадимыч плазму достал... да, договорился... отсюда... записывай...

– Он спасибо говорит, – сказала, глядя на него, медленно вешая трубку и добавила задумчиво:

– Ты хороший. Большой. Добрый...

– Только вот ты не любишь меня... – грустно и как-то виновато усмехнулся он.

Она вдруг доверчиво прижалась к нему и тихо зашептала в ухо:

– Пожалуйста, не надо так говорить... Я тебя очень, очень уважаю... А это слово я тебе скажу обязательно, обещаю только не торопить, я знаю себя, знаю, как это сделать, главное, верь, нужно дать только вызреть, как ребенку в утробе...

– Мы с тобой уже шесть месяцев...

– Вот видишь, даже для доношенного ребенка надо больше, – наконец улыбнулась она, и, не в силах удержаться, он поцеловал ее.

Потом они вернулись в холл, сели на диван и некоторое время молчали, чувствуя покой и необыкновенное внутреннее единение, которое до сих пор не посещало их даже в постели.

– А с ним ведь у нас давно ничего – правда – тихо сказала она. – Мне только, знаешь, мысль иногда приходит: а может, его болячка из-за меня...

– Что за глупости говоришь, выкинь из головы! У тебя ведь высшее медицинское образование, ты ведь знаешь, есть различные теории, хотя, конечно, причина не выяснена...

– Вот то-то, – вздохнула она.

– Во всяком случае, никакой взаимосвязи аутоимунных заболеваний с нервной системой не установлено! – решительно подвел он черту. – И нечего тебе, девочка, вешать на себя его личные проблемы! Ты о себе думай, о ребенке!

– Веришь ли ты в меня? – спросила она.

– Верую... – твердо кивнул он.

– Веришь ли ты в меня? – спросил он.

– Еще бы!... Я бы и встречаться с тобой не стала бы...

Ей вдруг во что бы то ни стало захотелось в церковь, но не в раззолоченный собор Святого Марка, где не протолкнуться среди туристов. Руководствуясь картой-схемой, они двинулись через город, по переулкам, порой таким узким, что едва могли разойтись в них двое встречных, по мостикам через каналы... В течение пути она была молчалива и замкнута. Довольно скоро оказались на площади с конной статуей кондотьеру Бартолемео Коллеони перед собором Святого Павла. Пожилой и желчный кондотьер презрительно поглядывал на прохожих с высоты своего делающего шаг коня.

В соборе было тихо прохладно и, как во всех итальянских соборах, роскошно: росписи библейских сцен на потолках и картины на стенах – работы прославленных мастеров... А туристов – лишь группа с ровно вещающим что-то информационно важное на немецком языке гидом, от которой они поспешили отойти подальше. Она вздохнула: «Жалко, здесь свечек не ставят!»... Потом остановилась у картины, изображающей Мадонну с Младенцем, и долго на нее смотрела: думала о чем-то своем, наверное, молилась. А он, тактично поотстав, стоял у колонны. Здешние храмы ему напоминали картинные галереи. Их пересеченные колоннадами пространства казались громадными в сравнении с православными храмами, однако их роскошь была столь вызывающей и земной, что в ней терялся некий дух отрешенности от мира, который он невольно ощущал в любой русской православной церквушке.

Когда они выходили из храма, настроение ее, кажется, улучшилось, и она даже улыбнулась. Оставался еще целый час свободного времени, и они решили просто побродить по городу, заглянуть в магазинчики, купить сувениры. «Да, и твоей Нине Игоревне надо тоже кое-что присмотреть...» – обронила она, зыркнув жестким взглядом, и он согласился: действительно, вот умница, вовремя напомнила, ведь за всю поездку он жене и в самом деле еще так ничего и не купил! (Любовницы не раз в командировках давали ему дельные советы, что привезти жене). К тому же ему так хотелось сделать ей приятное, и на этот раз он собирался вновь попытаться преодолеть это непонятное глупое сопротивление и подарить что-нибудь, несмотря на то, что в Венеции все ужасно дорого, раза в два дороже, чем на материке, ведь это был их последний час в Венеции, потом гулять по магазинам будет некогда: потом гонка на фиате в Рим, аэропорт Леонардо да Винчи, перелет через Альпы, Шереметьево-2, Москва, просторная профессорская квартира с Ниной Игоревной, всегда, в любое время года занимающейся какими-то домашними заготовками, хлопотами (как обычно, к его приезду традиционный пирог с яйцом и капустой), чай, уютный диван, где можно будет расслабиться, положив на голову журнал «Cardiology», приятно холодящий лоб глянцевыми страницами...

Он вдруг почувствовал в ней какую-то перемену, отчуждение: на вопросы отвечала резковато и односложно, диковато смотрела куда-то в сторону... «Ну, ничего, бабье, пройдет!» – подумал, решив не лезть в душу и вести себя как ни в чем не бывало.

После получаса блужданий они оказались в магазинчике, где продавали дамские кожаные сумочки с гравированными видами Венеции. «Вот такая Нине Игоревне подойдет...» – ткнула она на одну. И в самом деле, сумочка была симпатичная, небольшая, с мостом Риальто, и даже цена вполне подходящая! Что значит женский глаз!

– Пожалуй, и вправду, – пробормотал он, нащупывая бумажник, – а то сама понимаешь, как-то неудобно...

– Слушай, а давай я тебе такую же куплю. То есть, конечно не такую же, торопливо поправился он, – а с другим рисунком, гораздо лучше... вон ту, со львом...

– Я не возьму! – неожиданно яростно отрезала она.

– Ну почему? Я тебя прошу...

– Думай о своей Нине Игоревне!

– Господи, какая ерунда, да при чем здесь Нина Игоревна, ты знаешь кто *ты* для меня!

– Знаю: любовница, девочка по вызову...

Голова вдруг загудела так, будто по ней ударил палкой самурай, в груди сдавило.

– Что ты несешь! Ты никогда для меня не была любовницей, ты – любимая женщина!...

– Спасибо... – она быстро зашагала к выходу.

– Куда?

– В отель...

– Но ты же не найдешь сама.

– Найду...

Он выскочил вслед за ней на улицу... Ну, ладно, – подумал, останавливаясь, – черт с тобой, я не мальчик, чтобы за тобою бегать! Боже мой, и к кому приревновать – к несчастной Нине Игоревне!...

Ее удаляющаяся фигура мелькала среди прохожих. «Только бы в правильном направлении пошла, а то ведь заблудится, дура! Ну не дура ли? Ох, дура!... Вот тебе и тонкие чувства!» – в том, что она ориентируется отвратительно, он уже убеждался не раз, и в Риме, и здесь... Ну так и есть, черт дерит! – Свернула в противоположную сторону и исчезла в переулке, и уже одни чужие лица и фигуры... так они и в аэропорт опоздают!

То ли легкий ветерок прошел по редким волосам, то ли ужас послеобеденного кошмара услужливо всплыл: ему вдруг показалось, что он ее больше никогда не увидит, а старый Казанова, заманивающий ее неизведанными сладостными пороками, захихикал над ухом... Он рванулся вперед, отбрасывая бред (догнать бы и просто надавать по попе!), сначала быстрым шагом, но явно недостаточным, чтобы настичь, и, ненавидя себя и ее, бросился бегом: она успела уйти уже далеко. Десятки, сотни счастливых людей с удивлением оглядывались на тяжело бегущего немолодого мужчину с мечущимися несчастными глазами. В переулке он ее не увидел: лишь чужие улыбающиеся счастливые лица, он бросился вперед и стал громко звать ее по имени...

Наконец выскочил на небольшую площадь с каменным человеком на постаменте, и тут в грудь ударила острая раскалывающая боль. Остановившись, он зашатался, сделав несколько шагов, ухватился за постамент, тупо, непонятно зачем вчитываясь в латинские буквы: «G O L D O N I», и стал оседать, а через комнаты, распахивая двери, спешит к нему Нина Игоревна в домашнем халате, протягивая чашку чая на блюдечке...

Откуда-то издали доносились голоса встревоженных итальянцев: «Il medico!... Il medico!...», а он уже чувствовал, что ему становится все покойней и веселее.

.....
– Милый, милый, что с тобой! – пыталась она докричаться, но лицо его было мраморно-белым, и глаза закрыты. Она приподняла веко: черный зрачок расплзлся, разливался, истончая радужный окоем.

Она рванула на груди рубашку, приложив ухо к груди с седыми волосками, но не услышала ничего, кроме шума собственной крови в ушах. Она знала как это делать: их тренировали на муляжах, и она видела на практике в реанимации: непрямой массаж сердца, искусственное дыхание рот в рот... -Раз!.. Два!... Три!... Четыре!... – резко нажимала она на грудь, затем кинулась к голове и, запрокинув ее, вдохнула в него воздух, жизнь, почувствовав языком знакомый холодок золотой коронки. Неожиданно появился некто рыжий светлоглазый с рюкзачком и в панаме. Он стал энергично помогать: вдавливать ладони ему в грудь, и делал это весьма четко и профессионально, а она дышала. One... Two... Three... Four... Breath! – деловито командовал рыжий (очевидно коллега – врач или студент медик), и затем она делала очередной выдох, от которого грудь профессора приподнималась. От частых вдохов и выдохов в голове помутилось и зашумело. -Change? – весело спросил рыжий, описав в воздухе круг пальцем. Она кивнула, и они поменялись местами. В руках у рыжего появился носовой платок, которым он накрыл рот лежащего. Теперь она нажимала, а он аккуратно дышал через свой платок.

Так они работали, иногда менялись местами. Казалось, время затормозилось, исчезло – у него не было права двигаться!... То и дело она кидалась смотреть глаз: зрачок не суживался. Откуда-то вдруг появились носилки, и какой-то человек с прозрачным маской-мешком для искусственного дыхания вдруг оттеснил ее от него, а рыжий, нажимая, все так же бодро, будто наслаждаясь своим умением, считал: -One... Two... Three... Four... Breath! -Милый, не уходи! – крикнула она, ударив его по щеке, ударив еще и еще, но холодная и тяжелая голова оставалась неподвижна. – Не уходи, милый, я тебя люблю!...

Девятый вал

Море встретило их батальным громом. Такого шторма Максим еще не видел, хотя проводил каникулы на побережье не первое лето. К берегу мчались крутые, в полтора этажа высотой волны – малахитово-зеленые, длинные, до километра, они гнали перед собой глубокие овраги, вставая над ними стенами, которые то тут то там обрушивались и разрушение, начавшись, с грозвым раскатом ширилось вдоль всей волны. Максим невольно вспомнил прочитанное где-то: всего кубометр воды весит тонну! – и похолодел, лишь попытавшись представить себя на миг т а м, под падающим гребнем и почувствовал себя комаром, который пришибают ладошкой

Море, сколько хватало глаз, ходило ходуном, но странен был этот шторм небом, безоблачно-синим, с зеленцой по краям. С юга дул непрерывный, упругий ветер, но ветер теплый, и тут и там на узенькой полоске пляжа, которую не заливало, расположились загорающие.

Взбаламученная желто-коричневая вода у берега пенилась как после стирки, приборную волну подмывали мчащиеся назад потоки, она становилась все круче и выше, изгибалась вогнутой гладкой лопастью и с залпом, от которого вздрагивал воздух, обрушивала свои кубические тонны, мчалась вперед на несколько десятков метров крутящимся белым вихрем, вначале опасная, выше человека, но с каждым мгновением теряя силу, становясь все меньше, исходя на нет ядовито шипящим пенистым языком и дети с восторженным визгом, смачивая в нем ноги, бежали прочь.

Отец Максима опустив сумку расстелил полотенце, прижав по углам камешками. Лазуткин расположился рядом. Сняли обувь, и разделись до плавок. Лазуткин вытащил из сумки брякнувшие шахматы.

– Играете? – оценивающе прищурился он на доктора.

– Да, как сказать... – неохотно пожал плечами и смущенно улыбнулся доктор: в последний раз он держал в руках шахматы много лет назад во время турниров на лавочках в городском парке имени Талалихина.

– Ну, я тоже не гроссмейстер, – скромно заметил Лазуткин, высыпал фигуры на полотенце и, раскрыв доску, принялся не спеша расставлять.

Шальная волна замочила край полотенца и доктор с Лазуткиным переместились чуть дальше от воды. Лазуткин осторожно перенес шахматную доску на новое место и вопросительно взглянул на доктора. Доктор скептически посмотрел на стоящую перед ним шахматную доску, вздохнул.

– Ваши белые, – подбодрил Лазуткин, – ваш ход!

Доктор взглянул на море: оно не обещало купания. Заставив себя сосредоточиться и отвлечься от шума волн, он двинул пешку вперед – банальное Е-2, Е-4. Игра началась.

Максим смотрел на море. Два здоровенных мужика кокетничали с прибором, соревнуясь кто зайдет дальше. Вот одному, что повыше, катящийся бурун достиг пояса. Хохоча он плюхнулся в пену и его понесло на берег. Другой, поменьше и поотчаянней, забежал туда, где вал оказался выше плеч, невольно съежился, подставив бок и в следующий миг удар свалил шутника. Он исчез среди мчащейся на берег пены, замелькали – рука, нога, голова и, наконец, проступила отчаянно барахтающаяся фигура. Вскочив, человек попытался удержаться в обратном потоке, клокочущем вокруг колен, сделал шаг к берегу, упал, снова вскочил. Мелькнуло глупо изумленное лицо, рука натягивала сползшие на бедра плавки, но не успел он распрявиться, как следующая волна сокрушила его, перевернула пару раз и он оказался распластанным на камнях. Не дожидаясь очередного удара, мужичок подпрыгнул, стремительно как насе-

комое, заскакал прочь от воды, держась за ушибленные бока. Его товарищ, наблюдавший эту сцену, хохотал от души.

Лазуткин вывел вперед коня. Первые ходы он делал, почти не думая. Стратегия была обычной: сосредоточить удар на одной клетке, создав угрозу пешке, притянуть к ней силы противника для ее защиты и, опережая с самого начала на ход, провести размен так, чтобы создать перевес на фигуру, а затем, не теряя инициативу, путем ряда простых разменов, после каждого из которых значение лишней фигуры будет лишь математически возрастать, прийти к победе. Конечно, доктор был дилетант, натренированный же и дисциплинированный математическими операциями мозг Лазуткина всю игру мог держать в неослабном внимании каждую клетку доски. Однако, доктор действовал чрезвычайно осторожно, после четвертого хода довольно ловко избежал провокации и Лазуткин задумался.

Максим прошелся вдоль берега и остановился. Море страшило и притягивало одновременно. Ни одного пловца! Ветер дул в лицо, вода заливала ноги по щиколотки. При таком волнении невозможно было бы даже спустить на воду спасательную лодку: такой накат вышвырнет ее не берег при первой же попытке, да и окажись лодка в море, ее сразу перевернет и зальет, настолько волны крутые и частые... А ведь волны среди которых плавали герои прочитанного рассказа были не меньше!... Вот одна, всем волнам волна, неумолимо надвигается, вспухая и темнея, перекрывает горизонт рваными краями вот она уже почти с двухэтажный дом, вот отвесный гребень с громом обрушивается и тяжело, протяжно рушится вдоль всего вала... Максим представил себя там в яме и ощутил собственную незванность, незначительность. Горожанин, он и не знал, что стихия может пронять до озноба... А вот те пловцы просо ныряли под такой гребень и появлялись с другой стороны целые и невредимые, перехитрив эту слепую силу!

Мало помалу игра захватывала доктора. После удачного отражения атаки он приободрился. По-прежнему тревожила загадочная фигура коня, держащая под боем центр доски. Но непосредственная угроза миновала. Однако пассивная оборона требовала слишком большого напряжения, приходилось просчитывать в уме последствия каждого хода Лазуткина, который уже предпринял новую атаку, двигая пешку на правом фланге. Лазуткин играл сосредоточенно и методично, теперь он понял, что победа не придет слишком просто, хотя в том, что она придет был уверен – доктор играл слишком осторожно и надо было дожидаться от него единственной, неизбежной для дилетантов ошибки.

Максим зашел в воду так, что прилив коснулся колен. Пожалуй это была особенно крупная волна. Значит седьмая или восьмая тоже будет крупнее других, а вслед пойдет относительно невысокая... Главное – преодолеть полосу прибоя, не попасть в его зев, где в лучшем случае оглушит рухнувшей массой... Пожалуй, это и в самом деле возможно в момент, когда вода прилива только начинает стекать в море, а следующая волна наиболее пологая с едва наметившимся гребнем. Если поймать именно этот момент, то стекающая с берега вода сама понесет в море, а если еще как следует помочь руками и ногами, можно успеть пройти полосу прибоя... Он принялся считать волны – одна... вторая...

Для каждой волны миг наивысшего могущества был мигом начала гибели, но в гибели каждой – в ее изгибающем зев откате, уже зрел удар последующей... И вот, наконец, рухнула взмахнув гривой, восьмая, следующая за ней была не столь высока. Вода, поднявшись выше колен, начала стягиваться как невод к морю, мальчик рванулся вперед и когда вода достигла пояса, бросился в поток, поплыл быстрыми саженками, помогая все ускоряющемуся течению и, стремительно, как на салазках, заскользил, полетел к взбухающей волне наката.

Доктор будто вновь обрел некое шахматное зрение, как бывало когда-то давным-давно во время турниров на лавочках в городском парке имени: фигуры ожили. Каждая имела свою судьбу, исход которой терялся в бесконечном числе вариантов. И тут, неожиданно, увидел комбинацию: блестящая импровизация разрушающая методический алгоритм противника! А что если двинуть офицера? Он сразу почувствовал – ход авантюрный, но уж очень красиво и заманчиво выглядела задумка – лишь перевести слона на другую линию и взять под контроль правый фланг. Доктор заколебался. Позиционная война или риск?... Передвижка вызывала цепную реакцию ветвящихся, непредсказуемых последствий, но среди них была та, что очаровывала своим совершенством, красотой и остроумием. Доктор просчитал несколько вариантов и не обнаружил ошибки, однако предчувствие было такое, будто что-то упустил. «Надо держать оборону, вперед пешкой» – подумал он и... протянув руку, двинул в атаку слона... Уставший ждать Лазуткин вздохнул: грудь у него была крепкая безволосая, широкое жреческое лицо с маленьким подбородком во время игры хранило бесстрастность, лишь прицельно поблескивали окуляры очков. Ход был неожиданный и Лазуткин задумался...

Изо всех сил работая руками и ногами Максим успел пройти волну и краем глаза, делая очередной гребок, увидел, как позади вспухла и изогнулась желтая стеклянная спина в параллельных убегающих прожилках пены и услышал, как там тяжело ухнуло, заработал еще сильнее — стремясь уйти из опасной полосы прибоя, а навстречу двигалась уже новая волна. Она была еще не настолько крута, чтобы образовать бурун – лишь прошипел змейкой на верхушке гребешок. Максим почувствовал, как одним махом его подняло и, будто на качелях, метнуло вниз, в темную могильно холодную яму с желто-коричневым дном и стена перед ним, по мере того, как он скользил в нее, поднималась все выше и выше. Пловцу волны всегда кажутся много выше, чем с берега, а эта волна, с крутящимся как тракторное колесо буруном и вправду была немалой, а отсюда, со дна ямы казалась просто огромной, самой большой в жизни. Качели вознесли тело и, когда бурун оказался совсем близко, Максим набрал воздух, нырнул. Тело сдавили холодные нелюбезные объятья. Темнота и звон...

Когда раскрыл глаза, по которым струилась шипучая искривляющая мир вода, обнаружил себя уже летящим в новую яму и, не успев перевести дух, как пришлось нырять под следующий гребень... Все делалось им правильно, как в книжке, но он не учел лишь одного, как оказалось самого главного: волны, под гребни которых ныряли его герои были редкие и пловцы успевали восстановить силы и дыхание, а здесь волны если и не столь высоки, но очень круты и шли одна за одной непрерывно.

Вынырнув, Максим почувствовал, что неожиданно быстро выдыхается и грудь начинает сдавливать, на миг перестал грести, но море бездушное, беспощадное не давало передышки. Снова полет в провал и снова неумолимое наступление волны... Вот желто-коричневый гребешок вспенился и пена побежала по краю гребня, расширяющейся полосой, вот верх волны изогнулся и обрушился в стороне с таким слепым громом, что Максим почувствовал себя легкой мошкой, которую лишь случайно не пришибла ладонь великана.

Ход доктора был неожиданной импровизацией и Лазуткин из нескольких вариантов его развития быстро вычленил тот, который грозит неминуемым поражением. Тонкие губы сжались. Его мозг получил наконец-то достойную задачу. Проигрывая последствия он наконец увидел, что к этому варианту ведут два хода: или доктор переставит на одну клетку слона или передвинет пешку. Передвинь доктор пешку, можно было бы ударить конем и переломить ход сражения в свою пользу, если же доктор пойдет слонем, то в этом случае, к неприятному удивлению Лазуткина его собственное поражение представлялось бы более чем вероятным!

Но хватит ли цепкости у доктора осознать этот нюанс? Лазуткин выжидательно передвинул пешку – в этом узком месте игры лучшего не оставалось.

– Так, та-ак... – протянул доктор с трудом сдерживая глупую преждевременную радость. Хотя он и понимал, что в шахматах как в жизни любая мелочь может оказаться решающей, внимание в большей степени обольщала заключительная часть возникшей импровизации, общая идея и, особенно, ее блестящий финал. Наконец, когда затянувшаяся пауза могла бы уже показаться признаком слабости, доктор взял слона, но тут же отпустил. А что если все же... в его воображении возникла совсем новая обольстительная, как распускающийся цветок комбинация, открывающая совсем новые, невероятные возможности. Она блеснула как гениальное озарение и не успел он подумать, как пальцы сами передвинули пешку. Лишь отпустив ее, он сразу увидел прямой и очевидный удар, под который себя до боли глупо подставил, но поздно, рука Лазуткина взметнулась, сшибла конем пешку с доски и доктор еле удержал готовое было вырваться «Ох!»...

– Так-так, – протянул доктор, пытаясь скрыть растерянность. Усмехнулся. Но усмешка получилась кривоватой, натянутой. Прекрасный цветок оказался миражем в пустыне. Он тупо смотрел на черного коня с облупившейся краской и клиновидной выщерблиной у основания, видел насечку гривы, вмятину глаза, не в силах поверить, что эта бессмысленная деревяшка обрела над ним какую-то власть в пределах добровольно избранных правил.

Ясно просвечивал исход игры. Путем разменов Лазуткин создаст себе решающий перевес и добьется победы. Даже о ничьей теперь можно лишь мечтать. Сдаться сразу или затягивать игру в надежде на ошибку противника? Но вероятность ошибки была практически исключена, это доктор чувствовал: играл Лазуткин внимательно, не позволяя себе ни на миг отвлечься или расслабиться.

– Пожалуй, сдаюсь... – деланно улыбнулся доктор.

– Нет-нет, – встревожился Лазуткин тем, что победа не будет выглядеть вполне безупречной, – у вас есть еще шанс.

Доктор чувствовал, будто у него высасывают мозги и в голове не остается ничего, кроме идиотической пустоты.

– Да нет же, надо кончать...

– Нет-нет, – настаивал Лазуткин, – давайте продолжим. Здесь может быть много комбинаций, можно свести на ничью...

– Ну ладно, – вздохнул доктор, передвинув ферзя к центру, и, оторвавшись от доски оглянулся: сына не было – видно пошел прогуляться по берегу или сидит где-нибудь в кизиловых зарослях, заменяющих отсутствующий туалет.

Доктор обратил лицо к морю, сощурился, пытаясь отвлечься от шахматной неизбежности, зацепил взглядом дальнюю волну. Вот она, как будто небольшая, вспухает, растет, вот рваные зеленые клочья перекрывают горизонт, она ближе, больше, верхушка рушится и, преждевременно растеряв свою мощь волна теряет рост и силу, так и не достигнув берега, а у берега растет другая, более удачливая, мчится под нее, гремящая камнями вода, раскрывается вогнутый гладкий провал, превращаясь в блеснувшую небом пасть и взметнувшаяся грива обрушивается со звонким залпом.

– Ваш ход, – донесся, будто издалека голос Лазуткина.

Страх был где-то рядом, и смерть была рядом, он кожей ощутил их присутствие, всю тонкость и зыбкость преграды отделяющей теплую кровь от холодной беспощадной воды, но в тот же миг сдержал воображение, готовое взорваться неуправляемым гибельным ужасом, благо мышечное действие требовало неослабного внимания и поглощало все силы.

Решение повернуть к берегу было принято почти безотчетно, но тут-то и ожидали настоящие трудности: противник всегда кажется страшнее и ближе, когда ты его не видишь – по шуму

и грохоту было трудно определить набег гребня, приходилось часто оборачиваться, терять силы и скорость...

Услышав гром, вновь оглянулся. Надвигалась крутая желтая стена. Засуетившись, слишком рано и неглубоко окунулся в темноту и, вынырнув, оказался в буруне. Его закрутило, раза три перевернуло, в природе исчезли верх и низ, глаза ослепила желто-красная пелена, в горло и грудь рванула враждебная масса. Блеснул свет – голова оказалась над водой, и в этот миг он увидел стеклянную спину убегающей волны, в параллельных прожилках пены. Отчаянно заработал руками и ногами, чтобы хоть как-то использовать ее силу, догнать, но запоздал. Его снова смяло и бросило в красное марево без верха и низа. Одни лишь усилия мышц, одно лишь стремление – удержаться на гребне!... На этот раз повезло: бурун пронес его далеко к берегу, но в самой полосе прибоя Максим отстал от него. Снова грохот и красная тьма. Клокочущий вал понес тело как щепку, но неожиданно он ощутил ступнями шевелящиеся, как живые, донные камни, попытался встать под водой, врываясь в них поглубже пятками, приняв на себя мощный увлекающий в море натиск. В один миг он всем телом и каждой клеткой понял, что если не удержится именно *сейчас*, то на вторую попытку сил не хватит. Сознание сузилось в яркую алую точку, мышцы напряглись до предела. Его сносило, а он шел под водой, как против ураганного ветра, буксуя, не чувствуя как тупо бьют по ногам и коленям приподнятые потоком, шевелящиеся булыжники, карабкался, полз по дну, как краб, отвоевывая каждый сантиметр, каждое мгновение, а неумолимая сила стаскивала его под накат. Он оставался под водой сколько мог и лишь когда почувствовал, что больше не выдержит, рванулся вверх и вдохнул, но вместо воздуха втянул в горло тяжелую грязную воду, непроизвольно изрыгнув, сделал крупный глоток, но снова судорожный вдох засосал воду-удавку, и все же, конец вдоха он сделал уже над водой и эта скудная порция была решающей, он рванулся из последних сил и сразу накрыл его другой вал и крутя, переворачивая, забивая рот пеной, понес на берег. Когда он вскочил, вода оказалась уже выше колен. Обратный поток сбил и накрыл – вновь он распластался, цепляясь за дно, но теперь вниз тащило не так мощно и ему удалось продвинуться. Новый вал швырнул на берег дальше предыдущего. Здесь вода еле доходила до колен, и он бросился бежать, но волна настигла, опрокинула на камни. Обратный поток был уже не в силах стянуть тело вниз и, словно в отместку, сдернул на бедра плавки. Натягивая, мешающие бежать плавки Максим кинулся к мелководью, Догнавшая волна поддала сзади тяжелым шлепком, понесла и Максим оказался лежащим на камнях.

Встав, пошатываясь, и кашляя, побрел прочь от моря. Выбравшись на сухое место тотчас лег. Вздыхающаяся часто и судорожно грудь, кажется готова была лопнуть. Он смотрел в синее безоблачное небо и торопливо глотал эту синеву. Дыхание медленно восстанавливалось, становилось реже, глубже, разрывающая грудину боль будто нехотя отступала. Мыслей не было, но на дне души зрело тупое изумление: *в мире ничего не изменилось* – ни это яркое синее небо, ни он сам...

Тоскуя и скучая доктор совершил очередной размен: слона на слона и только еще более ясной стала безнадежность его положения – неумолимая логика рассеивала туманную надежду.

Подняв голову, доктор увидел сына. Подойдя к играющим, Максим сел на камни, повернул лицо к отцу, лицо, на котором блуждала бессмысленная странная улыбка, и доктор увидел – вся кожа у сына белая, будто приобретенный за месяц загар стерт одним махом.

– Что случилось?!...

– Нормально... Ничего... – губы сына продолжала кривить улыбка, – я искупался... Там... – взмахнул он рукой в сторону моря.

Лазуткин, оторвавшись от доски, с некоторым любопытством взглянул на Максима и вновь погрузился в тасовку шахматных комбинаций, которая особенно приятна, когда дело идет к выигрышу.

Единственное, что понял доктор – самое страшное позади. Не в силах ни испугаться, ни обрадоваться, ни разгневаться он почувствовал лишь мгновенную пустоту в сердце подобную той которая возникала в тех кошмарах приходящих время от времени из прошлого, отвел глаза от безумной улыбки сына и глухо выдавил

– Так что ж...

Крутая, особенно высокая волна обрушилась с пушечным грохотом, водопадный вихрь помчался на пляж, уменьшаясь, исходя в пенистый язык из последних сил рванулся к шахматной доске приподняв, толкнул ее о камень – комбинация смешалась и посыпалась и в следующий миг пальцы людей торопливо ловили в шипящей пене уплывающие шахматные фигурки.

– Коня унесло, коня! – вскочил Лазуткин.

Без женщины

*Самый прекрасный роман – несостоявшийся.
Анри Гарсон*

Поезд прибыл в Тулленборг утром. Максим оставил чемодан на квартире, адрес которой получил в бюро услуг и сразу отправился гулять в Старый Город.

Он бродил, переполненный светлым, беспричинным счастьем семнадцатилетней юности, по узким улочкам среди домов – свидетелей совсем иной, незнакомой, устоявшейся веками жизни, безуспешно пытаясь постичь смысл латинских букв, таинственных вывесок: «LILLED», «LEIB», «PIETUS», вглядывался в лица, искал в них признаки потаенного родства с башенным городом, похожим на высокого худоцавого интеллигента в элегантном костюме с галстуком, пиджаком застегнутым на все пуговицы, немногословного, подтянутого, уважающего чужое одиночество, вдыхал влажный морской воздух с угольковым привкусом копоти вокзала, порта и печных труб, время от времени неожиданно останавливался, залюбовавшись то грубой старой кладкой со следами сажи, оставшимися, возможно, с прошлых веков, то старинным фонарем, то игольчато истончающимся в небо шпилем с крохотным крестиком или флюгером на острие, засматривался на окна, за стеклами которых висели тюлевые занавески и цвела герань, зашел во дворик, где лежали штабеля готовых к употреблению дров – приметы тепла чужой ежедневной жизни... И хотя был здесь впервые, он чувствовал себя свободно и уверенно, будто снял надоевший ватник и одел сшитый по размеру удобный костюм. Преобразилась даже его походка: шел не сутулясь, как дома в Электрогоске, – прямо, уверенно, задирая голову, пятки, казалось, вот-вот оторвутся от земли и он полетит к чайкам, проплывающим время от времени через голубые каналы меж зубчатых берегов средневековых крыш. Он страстно желал каждую встречную мало-мальски симпатичную девушку, в каждой таилась возможность иной жизни, иной судьбы, как в станциях и огнях за окном вагона, каждую на миг он на себе женил, но в следующий момент содрогался от ужаса, что с этим прервется навсегда этот праздник возможностей... А женщины, поглядывая, также отмечали его, но с интересом больше платоническим – для них он был слишком молод, красив и воздушен и тут же, животным чутьем ощутив его страх и ненадежность, отворачивались оскорбленно, с презрением.

Потом он сидел в открытом кафе под полосатым тентом на краю средневековой улицы в Верхнем Городе, а позади юная очаровательная парочка – он и она, едва ли старше его – пили пепси-колу, он ел сосиски и пил кофе, спиной испытывая к ним тяжелую зависть. Он мелко глотал кофе, чувствуя себя космически несчастным оттого, что все женщины города не принадлежат ему.

Над оранжево-красной, с черным крапом пестротой черепичных крыш ближайших домов, в летнем солнце, на непросохшей голубой акварели неба, штыкасто сверкал узкий граненый шпиль церкви, внизу чешуйчато блестел коричневый бугристый булыжник вверх к Замку поднимающейся, будто разгибающий спину дракон, улицы.

Максим наблюдал за нечастыми прохожими – был обычный будний день Тулленборга. Вот молодая мама с отвесными до плеч, белыми, как у Снежной Королевы, волосами (такой почти снежной белизны Максим в Электрогорске не встречал) толкает детскую коляску, мягко перекатывая ее с одного векового булыжника на другой, – явно местная. Вот шагает мужчина, шатен средних лет в джинсовом костюме, с ищущим взглядом – такого можно встретить и в Электрогорске, чего никогда не скажешь вот об этом худом и длинном студенте в очках на пуговке носа и с длинной кадыкастой шеей – светло-русые патлы его украшает голубая, опоясанная желтой полоской университетская шапочка с небольшим лаковым козырьком.

Наблюдая прохожих, Максим и не заметил, как за столиком напротив появилась девушка с чашечкой кофе. Это был тот тип лица, который можно и не выделить мимоходом, но, взглянув на него чуть внимательнее, что-то заставит вернуться к нему снова. Явно не местная – брюнетка медного отлива с тонким, бледным, будто никогда не знавшим солнца лицом, умеренной мягкой полнотой губ и темными глубинно-мягкими глазами – возможно, русская с восточной примесью, а скорее еврейка – может, из тех, предки которых появились здесь чуть позже рыцарей крестоносцев и жили на улочке алхимиков и магов в Нижнем Городе своей кастово-религиозной замкнутой жизнью.

Откуда-то появилась уверенность, что, обратиться он к ней, она поймет его, прозрит в нем не только сегодняшнего мальчишку, но и будущего мужчину, и тот, провидимый сквозь его юные черты, станет хотя бы чуть-чуть ей мил и интересен, во всяком случае, подойди к ней – она не унизит, не отвергнет смехом и ли презрительным молчанием... Что бы ей сказать? – Все слова про погоду, про город и даже про ее красоту казались недопустимо обыденными и пошлыми. Конечно, надо было сказать что-то необыкновенное, новое, яркое, чего еще никто и никогда ей не говорил! Но что?!... – Максима напрягся, чувствуя, как уходит время, во рту стало сухо, и пронзительно тонко зазвенела в ушах кровь. Прочитать стихи?.. – Но он не помнил ни одного, да к тому же использовать чужие чувства для выражения своих ему казалось пошлее, чем говорить о погоде.

Она сделала маленький глоток!

Лучше было бы прочитать свои, но у него не было ни одного любовного. Не будешь же, в самом деле, читать то мальчишеское, что он когда-то сочинил в Электрогорске, где, глядя на голубое пространство карты над столом, шептал, дрожа от восторга: «Корсару море дом родной, ему не нужен его покой, и тьма и буря его союзники, его союзник убийственный прибой...» Лучше было бы сочинить стихотворение, обращенное именно к ней, но она это нет времени, а она делает еще один глоток!

– Уйдет! – обожгла ужасом мысль. – Навсегда уйдет!! Придется что-нибудь про погоду: «Не правда ли чудесная погода?...» Надо пересилить себя, встать, подойти и заставить сказать это! Но Максим не шелохнулся, будто предчувствуя, что голос сорвется в пронзительный фальцет или в задыхающуюся сиплость, или просто исчезнет и придется стоять перед ней, лишь разевая рот, как пойманная рыба, – вот истинный позор!!

И тут появился он – рослый военмор: лакированные ботинки, черные брюки, черный серебропогонный китель, ослепительно беловерхая фуражка с тяжелыми золотыми ветками по краю черного лакового козырька... Она смотрела прямо на него! Так вот кого она ждет! Максим почувствовал, что земля под ним проваливается от ощущения собственного ничтожества перед парадной мощью этой формы, которую он когда-то мечтал носить (но не прошел медкомиссию из-за небольшой близорукости), перед ее содержанием – сколько трудностей и приключений уже этому человеку пришлось преодолеть и пережить, сколько штормов и дальних морей он видел, сколько подвигов совершил! Какая тут женщина устоит?!..

...Но нет, она смотрит мимо него! Они незнакомы! А кавторанг (погоны уже можно разглядеть) подошел к бармену и что-то спрашивает. Блондинистый бармен в расшитой узорами жилетке и белой рубашке с черной бабочкой на шее еле заметно, углами рта, презрительно улыбается, наливает из коньячной бутылки полстакана смуглой жидкости. «Без закуски!...» – доносится голос военмора.

Со стаканом в руке моряк оборачивается, привычно зорко обводя столики мгновенно оценивающим погуду взглядом. У него простое, грубоватое, но располагающее к себе лицо. В следующий миг он движется по направлению к ней, необычно плавно для его крепкой фигуры, слегка вальсируя меж легкими белыми столиками... Подошел. Наклонившись, говорит что-то, Максиму неслышное, видимо, то самое, необходимо пошное, что он не в состоянии был из себя выдавить. Теперь все пропало... Какая легкость!.. Она мягко улыбается и отве-

чает... Максим отказывается верить глазам... Это невозможно! Так же плавно, как подошел, военмор откатывается за соседний столик, садится, ставя перед собой стакан, снимает фуражку и кладет ее на соседний стул, открыв густые, блестящие, как хорошо прочесанная шерсть, слегка выющиеся русые волосы. – Отказала!.. Легко, изящно и четко... Как? Какими словами? – О, много дал бы он, чтобы узнать!

Моряк сидит некоторое время неподвижно, будто думая (или делая вид, что думает), поглядывая то на улицу, то на девушку, сидит так довольно долго и, когда уже начинает казаться, что он пришел сюда вовсе не пить, поднимает стакан ко рту и выпивает содержимое в два-три глотка.

Поставив пустой стакан на стол, он еще некоторое время сидит, уже другой, ушедший в себя, как Будда... Потом неожиданно встает, взяв фуражку с золотым якорем среди сосновых ветвей, идет на выход и, проходя мимо девушки, полушутливо махнув бесценной фуражкой, говорит ей на прощанье что-то галантно-легкое, свободное от лютого мрачного мальчишеского голода, выражающее уже лишь вполне бескорыстное восхищение – умение в общем не обязательное, но обязательное для настоящего мужчины, умение, которым юный Максим обязан овладеть в полной мере.

Кавторанг удаляется по улице, девушка делает еще один глоток...

Наконец, настало самое время подойти ему! Но подошвы будто прибиты к настилу плотничьими гвоздями. Каков же должен быть ее избранник, если *такому* отказала?! Очевидно, совершенно необычным и вполне положительным. Где-то в пространстве намечался смуглолицый с умными темными глазами мужчина, возможно, одною с ней национальности. Мягкий и низкий голос его, подобный нежной бархотке, проясняющей стекло, даже когда он говорит о совершеннейших пустяках и пошлостях, всегда выражает своими модуляциями нечто большее, никогда не срываясь в бесцветно утомленный тон или металлически скрежещущую раздражительность: он часто говорит ей о погоде, читает чужие стихи, которые знает на память великолепно, напоминает ей, что она красивая... Он хороший спортсмен-любитель, может, делает успешную карьеру где-то в области физики или талантливый хирург, сочетающий оригинальность мышления с умением адаптироваться к советской действительности... По мере разрастания этого образа Максим чувствовал, что вся его положительность и гармония для него крайне неприятны своей благоприобретенностью – полная противоположность ему, искренне обнаженному, шарахающемуся от всяких ограничений, презирующему защитные маски. Глухая враждебность к сопернику нарастала, вся душа сжалась в кулак, и тут, словно почувствовав его состояние, девушка встала и, перекинув через плечо сумку, решительно направилась вниз по улице. Она уходила по спине дракона к Надвратной башне, покидая его жизнь медленно, спокойно...

«Нет, пожалуй, лодыжки толстоваты!» – мстительно подумал он вслед, и тоска навечной потери стала чуть глуше.

Майя

1. Утро

Солнце вставало над рельсами, разбрызгивая апельсиновый сок, от которого сводило скулы. Он стоял на краю платформы, ежась от утреннего холодка, безуспешно пытаясь сдержать зевоту. Бригада ремонтников в оранжевых жилетах брела по путям, наступая на собственные тени, с известными лишь им намерениями. В ночи, из которой он выплыл, осталась борьба, когда каждое из тел стремиться использовать в другом каждую складку, выемку, выступ для взаимного проникновения, заполнения, захвата – отчаянные попытки слияния, сладостный, до самых молекул потрясающий кошмар, и тем не менее, как и всякий сон, быстро выветривающийся из памяти, оставляющий лишь ангельскую легкость чресл и высокую, ничем не искаженную ясность души. И все же еще казалось странным, что после всего случившегося возможно говорить простые слова, совершать обычные движения: входить в причалившую с утихающим воем электричку, садиться у окна, доставать газету, пытаться читать, складывая буквы в слова, какую-то статью об очередной склоке между фракциями в Думе, с каждым мгновением чувствуя, как все новые мелочи дня все более неизбежно вытесняют и отдаляют его от происшедшего, что ночь неуловимо убывает, затекает куда-то в низины памяти, эпизоды растворяются, сливаются в густую смолистую массу.

Так ясно и четко он давно не видел, как сейчас, глядя из окна электрички: душа купалась в небесном голубом затоне, заборы и крыши дач, сентябрьские деревья, еще зеленые, но будто присыпанные желтой крупой...

– Клей момент! Имеется в продаже клей момент! Рекламная распродажа! – кричал шагающий через вагон коробейник.

Он умирал и воскресал этой ночью, и потому сегодня он уже немного другой, чем вчера. А мир оставался таким же, и безразлично радостное утро неизбежно переходило в день, невзирая на ее или его бытие или небытие. А из небесного затона выплывала навстречу запредельная обнаженная женщина, возлежащая над всем земным пространством... над лесами, поселками, городами, таинственно улыбающаяся собственной власти.

Но день наступал, и вещи брали власть.

«Следующая остановка...»

2. Давай поедем на море

Это была не просто скука, а какая-то экзистенциальная грусть, хорошо знакомая людям, у моря родившимся и вынужденным проводить дальнейшую жизнь вдали от него. Всю сознательную жизнь смутно тосковал о море, оно часто снилось ему. В раннем детстве они выехали навсегда из Либавы в один из самых сухопутнейших среди всех сухопутных городов, он тосковал о нем все детство особенно сильно, а когда выезжали в отпуск, обычно на Юрмалу, это был настоящий праздник, высшая точка года. Иногда он пытался поделиться этой своей странной грустью с друзьями, но они считали эти разговоры реликтом юношеского, исключительно книжной природы, романтизма. Они воспринимали море, как большую, сочетающую в себе многие преимущества ванну с солярием, которую, к сожалению, невозможно задвинуть в габариты городских квартир. А он мечтал когда-нибудь купить домик у моря...

Но после того, как он этой весной встретил Еву, море ему перестало сниться, будто в ней он нашел все его свойства...

Ева жила на пятом этаже хрущевки в ужасном индустриальном районе вблизи гигантских кратеров ТЭЦ, над которыми вился парок, как над камчатскими вулканами. Но убожество района, мусор во дворах, норовящий разодрать штанину, криво торчащий из земли у подъезда ржавый прут, ободранные двери подъездов и унылые пятиэтажки перестали его коробить с тех пор, как он встретил Еву. Когда они оказывались вдвоем, казалось – весь мир принадлежит им, что они сильны, как американские супермены, любые тяготы – все по плечу! И даже о море он вспоминал все реже, и то в связи с ней...

Да, она стала ему морем, и он любил нырять в его таинственную глубину, когда сдавливают виски и шумит в ушах и сознание отодвигается неизмеримо далеко, попросту испаряется, даря ощущение беспредельной свободы забвения. Он превращался в дельфина, играющего на волнах – вдох-выдох, свет-тьма, свет-тьнь! – мчащегося сквозь них, гордого своей силой – вдох-выдох, свет-тьнь – лодкой в океане, штурманом, твердо и умело ведущим к заветной гавани, куда влекли ее глаза, в которых и Луна, и Солнце и смеялись, и манили, и грустили. Вдруг застыв, эти глаза теряли цвет, будто душа отлетала куда-то на миг. Тогда он ловил самую высокую волну, которая, приподняв его особенно высоко, несла на пуховом гребне (эта волна, уловить которую надо было уметь и уметь на ней удержаться – иначе гибель), и в наивысшем миге восторга, триумфа она сама выносила его на берег, как бывало в море, плавно опускала на камни гальки, которую он начинал чувствовать под истончающимся пухом пены, и отступала, уже не смертоносная, но ласковая, благодарно лизнув на прощанье пятки.

Потом он лежал рядом с ней и отдыхал, как отдыхает приятно утомленный заплывом пловец, чувствуя почти мраморную прохладу и гладкость ее бедра и слушая ее спокойное ровное дыхание – дыханье набегающих морских волн. Во всем теле светлая лазурная легкость не напрасно растроченных сил и отдаленные подземные сотрясения – предчувствие наступления новой близкой грозы. Он любовался изгибом шеи, волной ее волос, ресницами... и когда она открывала глаза, смеясь и глядя на него, руки сами снова тянулись к ней, ноги переплетались...

...Потом проступала обстановка квартиры: окно с торчащим фонарным столбом и хитрой терпеливой вороной на нем, потолок с пятнами отвалившейся штукатурки, фикус на подоконнике, стол с початой бутылкой коньяка, ржавым чайником, и гулкий звук далекого поезда, обозначал бесконечность пространства...

– Давай поедem на море! – однажды сказал он ей, наверное, из-за неосознанного желания сделать рай непрерывным, взаимоотражаемым.

Она подошла к окну и полушария ее искупали несовершенство окружающего мира, чему не мешала даже известная лишь ему оспинка – след перенесенной в детстве ветрянки, встала около фикуса и рассмеялась:

– Одиссей, а ты знаешь, что за окном уже зима!?!...

– Ну и что, – сказал он. – Значит, поедem зимой!

3. Рождество

В том году под лютеранское Рождество море в Таллинне не успело замерзнуть. Это стало хорошо видно, когда они достигли обзорной площадки с видом на Нижний Город, облюбованной местными художниками. День выдался для здешней зимы на редкость ясный, сияло безоблачное солнце, снег колот глаза, небо сине-голубое через смутную дымную полосу размытого горизонта переходило в другую, нижнюю свою часть, более густую и синюю, в которой дирижаблями висели несколько сухогрузов с тепло-коричневыми боками, и с фантастической легкостью театральной декорации плыл, медленно летел над острыми крышами Старого Города, его стенами и башнями, дымками от редких уже торфяных печей, за шпилями храмов

и за силуэтами портовых кранов, огромный, будто вырезанный из белой бумаги, лайнер-паром «EESTLANE», прибывший из Швеции.

Он не стал покупать поделок у художников, предпочитая реальное чудо изображенному для продажи... а главным чудом была Она, которая стояла рядом – с открытой головой, рассыпанным по плечам волосами, глубокими темными глазами на бледном лице и чуть покрасневшим на зимнем ветру носиком, который она прятала в намотанный вокруг шеи черный с красными цветам павловопосадский платок.

4. Лестница

Иногда в самые счастливые минуты на глаза ее вдруг набегали слезы.

– Почему ты плачешь? – поражался он. – Ведь нам сейчас так хорошо!

– Оттого и плачу, что слишком хорошо, и все это когда-нибудь кончится, а вырывать придется с сердцем!

– Зачем, зачем ты так говоришь! Что за глупости! – ведь все зависит от нас. Ведь это же какой дар! Какая редкость – наша любовь взаимная, мы любим друг друга! Ведь так?

– Все это майя, – качала головой она. – Все пройдет...

Ах, как было просто не любить раньше, просто встречаться с мужчинами.

– Выходить блядство лучше, чем любовь? – усмехался он, внутренне зверея.

Она замыкалась. Возникал скандал.

– Ты никогда не станешь мой...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.